

Даниил Гольдин

Сон негра

Москва 2017

*«Сон – это то, что никогда не начинается
и всегда уже происходит»*

Б. Ирхин

Проклятая жаба никак не хочет брать на лапу. Уродливая жирная тварь все мнетса и нервно облизывает глаза, пока я сую ей золотые орешки в оттопыренный карман жилета.

Зачем ублюдок поднял меня? Ради чего? В шесть утра. А потом еще к этим деткам. Боже, они до сих пор читают мои стишки и чего-то хотят от меня.

А мне нужна эта вещь, которую он прячет и не хочет отдавать – боится. Для большого дела нужна вещь, Жаба. Ну же, отдай!

Жаба, наконец, кивнул, оправил сюртук и, воровато оглядевшись, вытащил из-под прилавка потрепанную книжонку. Не знаю, кого он опасается: в заваленном грудями книг зале ни души. В тусклом свете, протекающем через грязные круглые окна под потолком, на книги планируют пылинки.

Я сгреб томик в охапку и сунул под плащ. За ночь сухожилия сохнут, к утру твердеют, и пальцы плохо слушаются.

Под библиотечной стойкой я резко и неловко оттягиваю тетиву, пока Жаба не понял, что происходит. Поднимаю маленький арбалет. Зазубренный наконечник болта, выпущенного в упор, входит в жабье горло, застревает в позвоночнике. Он оседает за прилавком, из дрожащей пасти вырывается булькающее кваканье. Без свидетелей. Впереди большое дело, и нельзя раньше времени оставлять хвосты.

Я удовлетворенно скажусь и выхожу из книжной лавки через массивную резную створку.

Весна, а пасмурно как поздней осенью. Низкие тучи над каменными горами.

В школе меня ждут только к девяти.

Размяв пальцы, я кое-как впихнул томик во внутренний карман плаща.

Цилиндр съехал на нос и ободрал с него полоску кожи острым ребром.

Спускаюсь в нору подземного поезда. Там шумно, и затхлый воздух. Мое обоняние не восстановилось с утра, и я не чувствую запахов. В вагоне не сесть. Люди сторонятся. Они еще не привыкли, что мы живем так близко от них. Мы для них мертвы. Нас опасаются, хотя сами же они нас оживили. Государю еще меньше повезло – на его черепе мясо неросло вовсе. Не хватило на него Духовности.

Они не понимают, зачем я здесь. Я сам не могу ответить на этот вопрос. Просто еду. В школу. Пригласили.

Сколько я здесь уже? Семь лет? Семь лет назад меня так же пригласили сюда волею народа и лаской Русского Духа. Нас пригласили. Меня и Государя – Батюшку тоже, чтобы порядок навел и правил.

Задумавшись, я начал грызть ноготь, как всегда это делал раньше. Кажется, я так делал. Скоро обнаруживаю, что жую и ноготь, и кусок мяса с пальца. Он как вяленая рыба, сухой и соленый. Сплюываю на пол вагона и выхожу на поверхность через хлопающие на сквозняке двери.

Лицей где-то здесь. Начинается дождь, мне неуютно, я кутаюсь в плащ.

Низкое свинцовое небо светлеет, я вхожу в стеклянное здание по отесанным гранитным ступенькам. Их девять.

На входе меня долго не хотят впускать, пока не спускается мадам, которой я понадобился. На ней юбка выше колен. Мне нравятся такие, доступные. Юбка значит доступность. Какой бы длинной и пышной она ни была, ее всегда можно задрать. Раньше ни одна баба не носила брюк. Только руку под юбку запусти - пизда. Хорошее было время.

Она улыбается, но подойти близко боится. Я замечаю, как ее глазенки бегают по моему лицу, задерживаются на щеке. Я знаю, что сквозь рваную дырку она видит мои зубы. Ей нелегко было решиться пригласить меня.

– Здравствуйте, Александр Сергеевич! Как добрались? - она конфузится; – Меня зовут Фаина.

Фаина звучит как что-то смутно знакомое, но вспомнить не удастся. Я следую за ней на четвертый этаж.

– Это десятый «В», – торопливо инструктирует меня она, – они хорошие ребята. Вы извините, что я вас потревожила. Мне хотелось, чтобы у них было что-то особенное. Они очень любят ваши стихи. Может быть, даже больше чем Государя, - последние слова она бросила с озорным смешком и юркнула в дверь.

Ей не больше тридцати. Она любит этих детей.

– Ученики! - слышу за дверью, - сегодня у нас особенный день! К нам в гости пришел Александр Сергеевич. Я надеюсь, вы ему понравитесь. Покажите, что мы не зря занимались литературой, - мнется, не знает, что еще сказать. - Прошу вас, ведите себя хорошо.

Сам я еще не знаю, как буду себя вести. Жаба разбудил меня без пяти шесть. Сказал, что сегодня, или товара не будет. Куда мог деться его товар? Кому еще сейчас понадобится то, что спрятано в томике? Неужто у него поднялась бы лапа избавиться от него? Смешно. Слишком дорого она стоит. Это утро мне надоело. Я не выспался, мне хочется вернуться в свою каморку на седьмом этаже и уснуть, закутавшись в посеревшую от старости простыню. Не сорваться бы на этих деток. Они ни в чем не виноваты. Они ведь просто дети.

Трогаю пальцем зубы через несросшуюся щеку - там застрял кусочек шпината. Шпинат. Какое странное слово. Откуда я его знаю?

– Заходите, Александр Сергеевич!

Я вхожу. Два десятка детишек на нейростульях. Им не нужно писать. Им не нужны парты и книги. Все происходит в их обвешанных проводами, перемотанных изолентой очках. Это не укладывается у меня в голове. Я не знаю, как это работает. Мне неуютно от этих машин. Это просто не мое.

– Дети... - с ноткой строгости произносит женщина. - Что надо сказать?

Дети встают. Почти все они выше меня.

– Здравствуйте, товарищ Пушкин!

"Товарищ Пушкин" - повторяю про себя. Может, еще «Братец Пушкин»?

– Здравствуйте, - приподнимаю цилиндр.

– Александр Сергеевич пришел к вам в свой день рождения почитать свои стихи и ответить на ваши вопросы, - Фаина торопливо представляет меня, натянуто улыбается.

День рождения. Вот, значит, как? Я и забыл. А читать свои стихи. Я не знаю и половины. Мои стихи оказались по большей части редкостной дрянью. Надо что-то вспомнить. Жаба отвлекла меня, и я даже не подумал о том, чтобы заучить парочку.

Оглядываю класс. Их очки подняты, и десяток пар настороженных глаз следят за мной. Почему их вообще гоняют в школу, если все знания живут в их очках? Вижу на стене улыбающиеся портреты бородачей. И себя. Я смотрю на себя, носатый поэт смотрит на себя.

Училка выжидающе наблюдает за мной. Я не помню своих стихов. Оглядываю класс. Дети молчат, даже не перешептываются. Я молчу. Обычные дети. У кого-то веснушки, у кого-то прыщи. Девочек чуть больше, чем мальчиков. На переднем ряду все наблюдают за мной. Из задних рядов тянут шеи. Мне надо что-то сказать.

Она чувствует мое замешательство. Предлагает мне стул, но я отказываюсь. Мну в руках цилиндр, язык пытается пролезть сквозь дырку в щеке и облизнуть скулу. Того и гляди, снова начну жевать пальцы.

– Может быть, у вас есть вопросы к Александру Сергеевичу? - она пытается выручить меня, но выходит неказисто, будто она сама вдруг осознала, как нелепо мое присутствие.

Поднимается рука. Я задерживаю взгляд на девчонке. Светлые волосы, юбка с демисезонным напылением. Из-под нее торчат голые ножки в синих туфлях. Темные глаза, острый носик: ничего особенного. Строки сами всплывают в голове:

«Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б - наслажденье
Вкушать в неведомой тиши...»

Похоже, я произнес их вслух. Ну, хоть что-то помню.

– Татьяна, ты хочешь что-то спросить? – Фаина пытается сгладить неловкую паузу.

– Да. – Девчонка невозмутима. – Я хочу спросить, как Александру Сергеевичу живется у нас.

– Замечательный вопрос! Александр Сергеевич, вы не расскажете нам, как вы живете с тех пор, как вас... разбудили.

– Все бы ничего, только последнее время ноги немеют. И живот подводит. Духовности не хватает.

На самом деле, Духовности хватает. Только качество так себе. В первые годы мясо всегда нарастало на выдающиеся части тела: нос, уши, колени. А сейчас уже не помню, когда последний раз нос выглядел нормально – голых хрящ, и на том спасибо.

– Я наверстываю упущенное время, – я словно оправдываюсь перед девочкой, на что потратил выделенную мне народную веру, – Учю историю, читаю, иногда встречаюсь с товарищами.

Я сам немного удивлен, что у меня есть товарищи. Товарищи. Тьфу ты, сам уже заразился.

– А вы пишете стихи? - не унимается девчонка. Ее тугие хвостики вызывающе торчат над макушкой.

– «Забыл бы всех желаний трепет,

Мечтою б целый мир назвал -

И всё бы слушал этот лепет,

Всё б эти ножки целовал....»

– То есть пишете?

– Нет. Кажется, это что-то из старого.

– А новое будет?

– Не знаю. Я пытался, выходит хуже, чем раньше, – я силюсь улыбнуться, но наверняка выходит оскал.

– Зачем вы живете, товарищ Пушкин?

Самому интересно. Но так ответить я не могу, мне этого с рук не спустят. – Я живу, потому что того желает Русская Душа.

– Я этого совсем не желаю, если вам не нравится жить с нами, – говорит девчонка.

– Может, у тебя Русской Души нет? - сам уже который раз пробегаю взглядом по ее голым ногам.

– Есть! - она вздорно задирает голову и складывает руки на груди.

– Тогда зачем задаешь такие вопросы?

Ох как мне не нравится жить тут. С жабами и угрями. Ненавижу. Кажется, я зажевал щеку. Фаина, словно очнувшись, наконец вмешивается, пытается спасти остатки моего достоинства:

– Татьяна! Что ты себе позволяешь?! Может быть, мне стоит позвонить родителям? Они объяснят тебе, как проявлять уважение к старшим!

Девчонка бросает на училку короткий взгляд. Я почти ощущаю ее злость, но она перебарывает себя и произносит сдержанно:

– Прошу прощения, Александр Сергеевич.

– Извинения приняты, Татьяна. Вас ведь так зовут?

Она не отвечает, и Фаина переводит тему:

– Александр Сергеевич, один из наших лучших учеников хочет прочитать вам его любимое стихотворение. В смысле, ваше стихотворение, - она натянуто улыбается. – Я отговаривала его, но он настоял. Антон?

Пухлый мальчик встает во втором ряду, забирается на нейростул, повесив на спинку витки проводов и очки.

Я понимаю, что он один из немногих, кому я не уступаю ростом. Стул необходим ему, чтобы всем было видно. Пухляш поправляет овальные очки и начинает без вступления гнусавым голосом:

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа...»

Кажется, я не знаю этого стихотворения. Толстяк продолжает:

«Нет, весь я не умру - душа в заветной лире...

– Мой прах переживет и тленья убежит, - слова вспыхнули в мозгу и тут же погасли. Больше я не вспомнил ни строки, пока мальчик не закончил:

«...И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит».

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык».

Я морщусь, принесенное в жертву рифме слово режет слух. Надо же было так уродовать язык.

Пухляш продолжает:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И гнусно падших унижал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца».

Не буду оспаривать. Спасибо, мальчик.

К концу его голос словно прорвал пленку, затянувшую горло, стал звонким. Выкрикнув последние слова, он соскочил со стула и сел обратно, будто хотел убедить меня, что и не вставал вовсе. Потом, выждав чересчур длинную паузу, удостоил меня короткого взгляда. Я почесал нос, и на пальцах остался катышек кожи.

Фаина покраснела. Похоже, она решила, что стихотворение задело меня. Толстячку придется выслушать долгие увещевания о вещах, которых он не может понять, а эта темноглазая газелька на тонких каблучках отчего-то считает, что понимает. Я пользуюсь чужими образами? Газель, лань. Я писал так когда-нибудь?

Чтобы не мучать ее, я задаю глупый вопрос:

– Скажите, Фаина, а газели сейчас существуют?

– Конечно! В зоосадах и усадьбах.

– А лани?

– Не уверена, Александр Сергеевич.

– Существуют, - это говорит с места пухляш. В его голосе звучит обида. Я не хотел обидеть мальчишку. – У моего папы в усадьбе живут лани.

– Антон! Сколько раз мы обсуждали вопрос социальной скромности? В следующий раз, когда тебе захочется выставить на показ достаток своей семьи, изволь выйти в коридор.

Толстяк смотрит на нее из-под полузакрытых век, словно Фаина - его утомительная пожилая тетушка, и объясняет:

– Я вовсе не хотел привлекать внимание достопочтенного коллектива к вопросу достатка моей семьи, а лишь рассказал Александру Сергеевичу, в каких условиях он имел бы возможность лицезреть лань.

Темноглазая лань хочет что-то возразить, но задыхается. Наверное, это ее худший урок.

Я кланяюсь и выхожу за дверь.

Меня догоняет девчонка с двумя хвостиками в демисезонной юбке. Она сбежала из класса. Вблизи она не такая уж маленькая. Налитая грудка под белой блузой, покатые бедра.

– Александр Сергеевич, я бы хотела побеседовать с вами. Могу я как-нибудь прийти к вам?

– Это будет выглядеть странно.

Если вы будете заняты, я сразу уйду.

– Сколько тебе лет?

– Скоро будет 17.

– Тогда ладно.

Она прищурилась, но ничего не ответила. Даже не улыбнулась. Серьезно кивнула и протянула мне клочок бумаги и ручку. Я коряво, размашисто вывел свой адрес: пальцы все еще плохо слушались. Вернул ей бумажку и вышел из школы.

Мне хотелось домой, открыть томик, оттягивавший карман, проверить свое сокровище, но я обещал к кому-то зайти. Точно помню, что обещал, но к кому?

Что-то случается.

Царь сидит на корточках ко мне спиной, острые колени торчат в разные стороны, кости скрипят при каждом движении.

Я вижу ощетинившиеся под кафтаном царские позвонки.

Он шуршит металлом в сундуке в нише позади трона. На каменном кресле ерзает зайчонок, шевелит ушами и жметя в угол от гуляющего по залу сквозняка.

Я жду. Кажется, в тронном зале есть только одна дверь, а я стою у противоположной стены. Я вошел сюда только что.

На мне висит моя лучшая золотая цепь. Она тяжелая, спускается до груди по белой рубашке под распахнутым плащом. На ней знак: латинская буква S, а в ней два любопытных глаза.

Собираюсь с духом, чтобы дать о себе знать, но Царь сам поворачивается ко мне, распрямившись во весь свой гигантский рост. Два метра семнадцать дюймов – мелькает в голове.

В челюстях у него зажата собственная лучевая кость. Левый рукав из-за этого провисает.

– Все гниешь, Пушкин? - его голос звучит сухо, как подобает голосу, рождающемуся в дыре между узловатыми ребрами. За его грудиной только звонкая пустота, резонирующая от натянутой на костях ткани кафтана.

– Гнию, Государь, - почтительно кланяюсь, придерживая котелок, язык сам собой скользит по рваной щеке. Мясо по краям мягкое и безвкусное.

Кощей вытаскивает изо рта кость и швыряет через плечо в сундук. Зачем?

– Ну?

Я молчу.

– Написал?

– Нет, Государь.

Кощей приближается ко мне, нависает. Я чувствую свою ничтожность и легкую усталость. Смотрю в черные глазницы снизу-вверх. Такие далекие, они обещают мне покой и затягивают в теплую пустоту.

Царь сидит на подлокотнике трона, постукивая белесыми костяшками по дереву:

– Плохой ты сомрад, Пушкин...Чувствуешь это? - он поднимает палец вверх и шумно втягивает воздух всеми отверстиями черепа. – Это Русский Дух голодает по славе.

Я ощущаю в воздухе только сырость и миндаль. Обоняние оттаивает.

– И ты его накормишь, потому что я тебе приказал! – продолжает Кощей, – напишешь славные стихи, и мы будем с тобой и всем народом еще век благоденствовать.

– Мне не нравится то, что я пишу, Царь. И то, что я уже написал, тоже. Негоже таким Русский Дух потчевать.

Кощей хмыкает сухим кашлем чахоточного старика:

– Да насрать мне, что тебе нравится, негр! Я заказал тебе славную оду доставить ко двору сегодня. А ты? – его голос звучит устало. – Видимо, моей просьбы мало. Малышка? – он делает в воздухе росчерк кончиком указательного пальца, и к моему лицу с потолка спускается на тончайшей нити крошечный черный паук.

Он протягивает лапку и касается моего изуродованного носа, чтобы остановить покачивание. Я замираю, скосив глаза на малютку. Восемь черных бусинок без всякого выражения обещают мне тысячу лет в коконе. Я отчего-то всегда знал, как это будет: холодно и скучно, но конкретика ускользает от слепых щупалец памяти, оставляет им лишь лягушачью шкурку тоски, с которой и не сделаешь ничего, пока не перестанешь о ней думать.

Государь снова поводит пальцем, и малютка проворно взбирается по нити обратно в тень в завитках потолочной лепнины. Наваждение улетучивается вместе с ним, оставив едва-ощутимое пыльное послевкусие.

– Ода, Пушкин, - почти нежно говорит Кощей. – Постарайся. Для меня.

Начинает темнеть. Дневная хмарь сменилась зернистыми сумерками. Я пытаюсь нащупать часы в кармане плаща, но они все время выскальзывают из негнущихся пальцев.

– Какой сегодня День? – спрашиваю у Татьяны, идущей рядом. Она удивленно вскидывает бровку, смеется:

– Вторник. - И продолжает свою незаконченную фразу:

– Ничего сама не может. Для нее родители – единственный рычаг влияния. Батюшке написать, матушку побранить – вот это ее подход, чтобы дитячко послушным стало. Благо мои давно подошли.

Похоже, речь о ее учительнице, Фаине, но я прослушал начало рассказа. К чему она это? И сколько же все-таки времени? На туманной набережной нет ничего подходящего.

– И что будет после? – спрашиваю ее, лишь бы поддержать разговор.

– После? – она переспрашивает и хихикает, будто я спросил о чем-то вульгарном, и затем поясняет слегка печально, – Не думаю, что после настанет, Александр Сергеевич.

– В смысле? – я силюсь вспомнить, когда и о чем спросил ее.

– Мне кажется, я учусь в Лицее вечность, и никогда его не закончу. А думать о том, что же будет дальше, смешно, и вообще – непозволительная роскошь.

– Куда ж ему деться, этому после, - я отвечаю сухо, хотя внизу живота от ее слов провернулся липкий комок понимания.

Мы идем по мощёной набережной спокойной реки. Такой широкой, что другой берег тонет в дымке. А по правую руку гиганты городских построек скребут зыбкие облака.

– В ничто, - отзывается Таня после паузы.

Мимо нас изредка проезжают черные коляски с зашторенными окнами. Лошади послушно текут медленной рысью, не тронутые ни вожжой, ни кнутом.

– Вы сказали тогда, что вам не нравится жить здесь, Александр Сергеевич. Почему?

На ней та же юбка выше колена и белая блузка. Сочная попа, моя отрада того паршивого денька, куда-то делась. Девушка вытянулась и построилась с тех пор, как я приходил к ней в класс, будто это было уже очень давно. Дерзить она так и не перестала. Но это мне нравится.

– Мне не нравятся угри и жабы, я уже говорил.

– Вы только подумали, - снисходительно улыбается Таня.

– Да и от себя я не в восторге, - поворачиваю голову так, чтобы ей был виден обрубок носа, рваное ухо и дыра в щеке.

– Но вы же гений! – мои уродства не стоят ее внимания. – Вы пишете великие стихи!

От слова «великие» на меня накатывает тупая ломота в мышцах, и я морщусь. Я забыл, что все еще говорю с ребенком, и теперь начинаю чувствовать досаду за потраченное время. Трачу, и даже не могу выяснить, сколько его осталось.

– Я оживший идол, девочка. Твоими стараниями, между прочим, и других таких же дурочек, как ты:

«Мой витязь в ветреной строке

К строке царевны примыкает
И вот уж нежная роса
Бедро девичье обнимает...»

Пока ее ладонь приближается к моему лицу, я успеваю подумать, что она наверняка делает это впервые. Размах чересчур медленный, пощечина не будет сильной. Пальцы напряжены и даже чуть выгнуты в обратную сторону. Хлоп! – звук тонет в дымке, а удара я даже не чувствую. Хлоп! – Она отступает от меня и, улыбаясь одной стороной рта, наблюдает за реакцией. Я соображаю, что она просто хлопнула в ладоши. Хлоп! – кажется, мое ворчание веселит ее.

– Да полно вам. Русский Дух благодаря вам живет и нас всех благодатью одаривает. И, к тому же, поэзия – это действительно прекрасно, вне зависимости от вашего внезапного цинизма:

«...Но притворюсь я! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть тебя не трудно!...
Ты сам обманываться рад!»

Хитро щурится:

– Да как вам может не нравиться? Говорят, при жизни вы писали постоянно.

Я сам обманываться рад.

– С чего ты взяла, девочка, что это был я? Тогда, давно.

– А кто же это еще мог быть? Откуда бы вы тогда взяли? Да и Царь-батюшка, волею народа возвращенный к жизни, помнит, как великим государем в старину был.

– Чего ж он тогда плоть и кровь свою не вспомнит?

– Ой, господь с вами! – Таня неискусно машет на меня руками, – такие вещи страшные говорите. А коли услышит кто? – и все щурится хитрым глазом.

– Кто услышит? – я оглядываю набережную. Булыжники, гранитный парапет, громады домов, туман и улочки, уходящие в городской полумрак. – Давно бы уже в сетях болтался, если бы меня еще кто-то слушал. Эй! – кричу куда-то вверх, и прислушиваюсь к эху, которое словно возвращает мне само низкое масляное небо.

– Есть кто?

– Вам только скальпы целехонькие подавай, – в голосе Тани укор, – У Государя, может, и не достает чего, но свое дело он знает.

– Монеты в казне грызть, да Русский Дух кормить пустословием?

– Ну, не всем же стихи писать, – она берет меня под руку и увлекает дальше вдоль набережной.

Почти стемнело, я еле различаю контуры домов, фонари никто не зажигает. Нас сопровождает ритмичный стук. Цок-цок стук-стук, в такт нашим шагам. Это длинный зонт в моей руке отсчитывает каждый шаг.

Проходит время, и Татьяна спрашивает, аккуратно подбирая слова:

– То есть если бы вы могли, вы бы предпочли умереть?

– Я бы определенно предпочел не существовать вовсе;

– И смерти не боитесь? Ничто навек и древний грек?